

Людмила Улицкая Дочь Бухары

1. *проблема материнства, одинокой матери, которая воспитывает ребёнка совершенно одна, без поддержки родных и близких*
2. *проблема предательства; проблема выбора, которая привела к предательству; проблема ответственности за любовь.*
3. *проблема толерантности.*
4. *проблема детей инвалидов*

В архаической и слободской московской жизни, ячеистой, закоулочной, с центрами притяжения возле обледенелых колонок и дровяных складов, не существовало семейной тайны. Не было даже обыкновенной частной жизни, ибо любая заплата на подштанниках, развевающихся на общественных веревках, была известна всем и каждому.

Слышимость, видимость и физическое вторжение соседствующей жизни были ежеминутны и неизбежны, и возможность выживания лишь тем и держалась, что раскаты скандала справа уравновешивались пьяной и веселой гармонью слева.

В глубине огромного и запутанного, разделенного выгородками дровяных сараев и бараков двора, прилепившись к брандмауэру соседнего доходного дома, стоял приличный флигель дореволюционной постройки с намеком на архитектурный замысел и отгороженный условно существующей сквозной изгородью. К флигелю прилегал небольшой сад. Жил во флигеле старый доктор.

Однажды, среди бела дня, в конце мая сорок шестого года, когда все, кому было суждено вернуться, уже вернулись, во двор въехал «опель-кадет» и остановился возле калитки докторского дома. Ребята еще не успели как следует облепить трофейную новинку, как распахнулась дверца и из машины вышел майор медицинской службы, такой правильный, белозубый, русо-русский, как будто только что с плаката прыгнувший загорелый воин-освободитель.

Он обошел горбатую машину, распахнул вторую дверку—и медленно-медленно, лениво, как растекающееся по столу варенье, из машины вышла очень молодая женщина невиданной восточной красоты с блестящими, несметной силы волосами, своей тяжестью запрокидывающими назад ее маленькую голову.

Над цветочными горшками в разнокалиберных окнах появились старушечьи лица, соседки уже высыпали во двор, и над суматошными строениями завис высокий торжествующий женский крик: «Дима! Дима докторский вернулся!»

Они стояли у калитки, майор и его спутница. Он, засунув руку сбоку, пытался вслепую отодвинуть засов, а навстречу им по заросшей тропинке, хромя, спешил старый доктор Андрей Иннокентьевич. Ветер поднимал белые пряди волос, старик хмурился, улыбался, скорее догадывался, чем узнавал...

Свет после полумрака его комнаты был каким-то чрезмерным, неземным и стоял столбом – как это бывает с сильным ливнем – над майором и его женщиной. Обернувшись к соседям и махнув им рукой, майор шагнул навстречу деду и обнял его. Красавица с туманно-черными глазами скромно выглядывала из-за его спины.

Этот флигель, и прежде существовавший наособицу, с возвращением докторского внука так и запылал особенной, красивой и богатой жизнью. Со слепоглухотой, свойственной всем счастливым, молодые как будто не замечали душераздирающего контраста между жизнью барачных переселенцев, люмпена, людей не от города и не от деревни, и своей собственной, протекавшей за новым глухим забором, сменившим обветшалую изгородь.

Бухара – так прозвал двор анонимную красавицу – не терпела чужих взглядов, а пока забор не был выстроен, ни одна соседка не упускала случая, проходя, заглянуть в притягательные окна.

И все-таки соседи по двору, полуголодные и нищие, вопреки известным законам справедливости вселишения, всеобщей равной и обязательной нищеты прощали им это аристократическое право жить втроем в трех комнатах, обедать не в кухне, а в столовой и работать в кабинете... И как им было не прощать, если не было во дворе старухи, к которой не приходил бы старый доктор, младенца, которого не приносили бы к старому доктору, и человека, который мог бы сказать, что доктор взял с него хоть рубль за лечение...

Это была даже не семейная традиция, скорее, семейная одержимость. Отец Андрея Иннокентьевича был военным фельдшером, дед – полковым лекарем. Единственный сын, молодой врач, умер от сыпного тифа, заразившись в тифозном бараке и оставив после себя годовалого ребенка, которого дед и воспитал.

Пять последних поколений семьи обладали одной наследственной особенностью: рослые и сильные мужчины рода рождали по одному сыну, как будто было какое-то указание свыше, ограничивающее естественное производство этих крепких профессионалов, гуляющих тугими резиновыми перчатками по операционному полю.

Зная об этом семейном малоплодии, старый Андрей Иннокентьевич с ожиданием смотрел на хрупкую невестку в розовых и лиловых шелковых платьях, с грустью отмечал подростковую узость таза, общую subtilность сложения и вспоминал свою давно ушедшую Танюшу какой та была в восемнадцать лет – мужского роста, плечистую, с самоварным румянцем и крутой лохматящейся косой, которую она остригла безжалостно и весело в день окончания гимназии...

Пока Дмитрий колебался, принимать ли ему отделение в городской больнице или идти на кафедру в военно-медицинскую академию и перебираться в Ленинград, жена его кропотливо и рьяно занялась домом, потеснив Пашу, старую больничную няньку, которая уже чуть не двадцать лет вела незамысловатое докторово хозяйство.

Паша оскорбилась и перестала ходить. Доктор впервые в жизни отправился к Паше в Измайлово, разыскал ее, сел на венский стул, подвязанный шпагатом, положил перед собой на стол свою мятую шляпу и, разглядывая прямым, но подслеповатым взглядом обвешанную полотенцами икону, сказал:

– Не знал, что ты верующая, – покачал головой и строгим докторским голосом закончил: – Я тебе, Паша, отставки не давал. Кухню сдашь, а комнату мою убирать, стирка – это на тебе останется. И получать будешь, сколько получала.

Паша заплакала, сложив губы мятой подковой.

– Ну чего ты ревешь? – строго спросил доктор.

– Да чего там у вас убирать, в кабинете-то? Мне там раз махнуть, и вся работа... А варит-то она как – ни борща сварганить, ни каши... – Она вынула из вылинявшего черного халата белую тряпочку и вытерла глаза.

– Собирайся, Паша, поехали, и не дури, – приказал Андрей Иннокентьевич, и они вместе поехали на долгом трамвае через всю Москву к доктору.

– Нечего тебе обижаться, нам помирать пора. Пусть на свой лад устраивает, ей рожать скоро, – внушал Паше доктор по дороге, но она скорбно трясла головой, молчала и только возле самого дома, собравшись с духом, ответила ему:

– Да смотреть-то обидно. Женился на головешке азиатской... Одно слово – Бухара!

Видно, Паша еще не прониклась до конца духом полного и окончательного интернационализма.

А «головешка азиатская», которую муж ласково называл Алечкой, молчала, сияла глазами в его сторону, легко и ловко перебирала тонкими пальцами, расчищая запущенный дом.

Доктор, в молодые годы подолгу живший в Средней Азии, многое понимал в особенном устройстве Востока. Знал он, что даже самая образованная азиатская женщина, слагающая стихи на фарси и арабском, по движению брови свекрови отправляется вместе со служанками собирать кизяк и лепить саманные кирпичи...

Из окна кабинета доктор наблюдал, как его беременная невестка сидит на корточках в палисаднике, отчищает старую кастрюлю и ее серповидные тонкие лопатки мелко ходят под легкой тканью платья.

«Бедная девочка, – размышлял старик, – трудно ей будет привыкать».

Но она разобралась быстро.

Не свекровь и не служанка, – определила она старую Пашу, подумала и догадалась: кормилица.

И с этой минуты не было у Паши никакого недовольства невесткой, потому что хоть та и ошиблась относительно роли старухи, но ошибка оказалась вернее истины. Алечка была с Пашей ласкова и почтительно проста.

Что же касается старого доктора, то одних его седин было бы достаточно, чтобы не поднимать ей на него смиренных глаз. Но, кроме того, доктор напоминал ей отца, узбекского ученого старого толка, умершего незадолго до войны. Ему все не могли определить правильного места в новом пантеоне советских узбекских деятелей, выбирая между образом востоковеда-полиглота, исследователя и знатока фольклора и широко образованного в восточной медицине врача.

Сам он в конце жизни всему предпочитал богословие и писал до последних дней трактат об исре, ночном путешествии Мохаммеда в Небесный Иерусалим, что тоже было серьезным препятствием к официальному посмертному признанию. Однако назвали окраинную улицу столицы в его честь, хотя через несколько лет и переименовали... Был он настолько свободомыслящим человеком, что дал образование не только своим многочисленным сыновьям, но и дочерям. Младшая доучиться не успела при жизни отца, ей досталось всего лишь медицинское училище...

Так Андрей Иннокентьевич и не узнал до самой своей смерти, наступившей внезапно и легко вскоре после рождения правнучки, о том, сколь рафинированная, перегоняемая многими столетиями в лучших медресе Азии кровь течет в жилах крохотной желтолицей и желтоволосой девочки, которую торжественно привезли из роддома имени Крупской в сером «опель-кадете».

С первого же взгляда ребенок очень насторожил старого доктора. Девочка была вялая, отечная, с сильно развитым эпикантом, кожной складкой века, характерной для монгольской расы. Андрей Иннокентьевич отметил про себя гипотонус и полное отсутствие хватательного рефлекса.

Дмитрий, наскоро заканчивавший свое медицинское образование уже после начала войны, специализировался полевой хирургии, в педиатрии ничего не понимал, но тоже был внутренне встревожен и гнал от себя дурные предчувствия.

Назвали девочку Людмилой, Милочкой, и Аля, совершенно правильно говорившая по-русски, называла ее, смягчая окончание, Милей. Из рук она ее не выпускала и даже на ночь все старалась устроить у себя под боком.

Старый доктор умер, унеся с собой свои подозрения, но к полугоду и самому Дмитрию было совершенно ясно, что ребенок неполноценный.

Он отвез девочку в институт педиатрии, где академик Клосовский, связанный с покойным доктором корпоративной связью былых еще времен, под восхищенными взглядами ординаторов и аспирантов артистически осмотрел ребенка. Он повернул кверху крошечную ладонь, указал на еле видную продольную складочку, ловким движением нажав сбоку на скулы, обнажил белесый язычок ребенка и провозгласил диагноз, по тем временам редкий, – классический синдром Дауна.

Завершив свой блестящий номер, академик оставил девочку на белом холодном столе на попечение старшей медсестры отделения и, взявши под руку смятенного отца, повел его в свой кабинет, уставленный бронзой и препаратами мозга.

После пятиминутной беседы Дмитрию стало ясно, что ребенок безнадежен, что никакая медицина никогда не сможет облегчить его участи и единственное благо, которое посылает природа для смягчения этого несчастья, – такое анатомическое строение носоглотки, при котором неизбежны постоянные простуды, сопряженные с этим воспаления легких и, как следствие, ранняя гибель. Вообще, утешил академик, дети эти редко доживают до совершеннолетия.

На возвратном пути неполноценная девочка безмятежно спала, красавица мать прижимала к себе свою драгоценность с такой углубленной важностью, что Дмитрий напряженно думал, вполне ли поняла его жена весь невообразимый ужас происшедшего, и не решался ее об этом спросить.

Со временем Дмитрий Иванович проштудировал американские медицинские журналы, разобрался с происхождением этого заболевания и, проклиная могущественный вейсманнизм-морганизм, мучительно вспоминал о самых счастливых минутах его жизни, о первых днях внезапно постигшей его любви к девственной красавице, истинному чуду военного времени, присланному в госпиталь вместо демобилизованных медсестер прямо из джайны – мусульманского рая.

Обнимая своего первого и единственного в жизни мужчину шафрановыми, мускусными руками, она шептала ему в ухо: «Имя Дмитрий было написано у меня на груди» – и произносила слова на чуждом восточном языке, которые были словами не ласки, но молитвы... Именно тогда плотные сгустки наследственного вещества сошлись и, расходясь, случайным образом сцепились, и одна лишняя хромосома, или ее часть, отошла не в ту клетку, и эта микроскопическая ошибка определила существование этого порченого от самого своего зачатия существа...

Жена Дмитрия словно и не замечала неполноценности девочки. Она наряжала ее в цветные шелковые платьица, повязывала нарядные бантики на жидкие желтые волосы и любовалась плоской бессмысленно-жизнерадостной мордочкой с маленьким раздавленным носом и всегда приоткрытым мокрым ртом.

Милочка была улыбочивой и спокойной – не плакала, не обижалась, не сердилась, никогда ей не хотелось ничего такого, что было запрещено. Книжек она не рвала, огня остерегалась, подходила к калитке садика, смотрела в щелку, а на улицу не выходила.

Дмитрий Иванович, наблюдая за дочерью, с горечью думал о том, каким чудным ребенком могла бы быть эта девочка, какая обаятельная личность похоронена в дефектной телесности.

Единственной неприятной особенностью Милочки была ее нечистоплотность. Она очень поздно, как и бывает обычно с такими детьми, начала проситься на горшок и совершенно не могла усвоить понятия «грязный», хотя многие другие вещи, более сложные, она

воспринимала. Так, «хорошее» и «плохое» она по-своему различала, и самым сильным наказанием, которое допускала ее мать, были слова «Мила плохая девочка». Она закрывала лицо короткими пальчиками и плакала бурными слезами. Этому наказанию подвергалась она редко и обычно как раз за грехи «грязи»: испачканное платье, одеяло, стул.

Любимой стихией Милочки была полужидкая земля, в которой она с наслаждением возилась. Долгими часами она сидела рядом с песочницей, пренебрегая чистым крупитчатым песком, специально для нее привезенным отцом, и из жирной садовой земли, поливая ее дождевой водой из бочки, месила тесто и лепила, лепила...

Дмитрий Иванович, воспитанный дедом по сухой и добротной нравственной схеме Марка Аврелия, усвоивший к тому же скучную материалистическую религию общественной пользы, допоздна просиживал в своем отделении, глубоко вникая в медицинские судьбы своих пациентов.

Возвращаясь домой, он испытывал привычное ежевечернее отчаянье, и жена его, так сильно прилепившаяся к дочери, что черты Милочкиной неполноценности как бы проникали и в нее, становилась ему все более чуждой.

Все волшебство близости с этой прелестной и покорной восточной красавицей выветривалось куда-то, и, даже когда он изредка звал ее в кабинет деда, давно им заселенный, он не мог освободиться от глубокого темного страха перед невидимым движением таинственных и непостижимых частиц, руководивших судьбой уже рожденного ребенка и того, другого, который мог бы появиться на свет... Страх этот был так силен, что порой вызывал физическую тошноту и в конце концов полностью лишил Дмитрия Ивановича желания обнимать это женское совершенство.

Операционная сестра Тамара Степановна, грузная и грубая, с умными и надежными руками, после производственной вечеринки по случаю чьего-то дня рождения на дерматиновой кушетке в запертом приемном покое освободила Дмитрия Ивановича от предрассудков пуританского воспитания, а красавицу Бухару – от мужа.

Крупнопористая, круто завитая и толстоногая Тамара Степановна не рассчитывала на такой успех. Но она была ломовая фронтовичка, давно и наизусть выучившая сокровенную мужскую тайну: сильнее всего укреплять наиболее слабый участок. Интуицией многоопытного женского зверя она почувствовала его слабинку и на вторую их встречу, происшедшую через несколько дней по случайному совпадению дежурств, она посетовала на свое бесплодие, и Дмитрий Иванович с этой немолодой и некрасивой женщиной освободился от кошмарного миража мелких и гнусных движений хромосом, которые к тому времени начисто отрицались передовой наукой, но это уже не могло изменить совершенно разладившихся его отношений с женой.

Дмитрий Иванович сообщил жене, что уходит к другой. Она, не поднимая глаз и не выразив никакого чувства, спросила его, зачем ему уходить... Дмитрий не понял вопроса и дал разъяснение.

– Я знаю, я тебе надоела. Приведи новую жену сюда. Я согласна. Я сама родилась от младшей жены... – не поднимая глаз, сказала Бухара.

Дмитрий Иванович схватился за голову, застонал и вечером того же дня, собрав в чемодан рубашки и носки, ушел к Тамаре Степановне...

Деньги Дмитрий Иванович переводил по почте. Милочку не навещал никогда. В три дня девочка его забыла. С его уходом Паша окончательно переехала в докторский флигель, а Бухара пошла работать по своей почти утраченной специальности.

Круто изменилась жизнь. Препрежнее жадное любопытство соседей к Бухаре и ее дочери, подогреваемое высотой забора и их полной отчужденностью, теперь сменилось агрессивным желанием потеснить пришлицу «уплотнить», как тогда еще говорили. Были написаны безграмотные и убедительные бумаги в райжилотдел, в милицию и в некоторые иные организации, не чуждые проблемам распределения жилплощади. Однако времена уже стояли прогрессивные, ни выселить, ни даже потеснить их не удалось, хотя участковый милиционер Головкин к ним все-таки приходил – посмотреть, что там за комнаты у соломенной вдовы.

Дохлае кошки со всей округи постоянно перекидывались через высокий забор Бухары, но она не была брезглива, выносила кошек на помойку, а если дохлаину находила Милочка в мамино отсутствие, то она рыла в углу садика, под большим дубом, ямку, хоронила там кошку и устраивала на могиле секретный подземный памятник: под осколком оконного стекла раскладывала цветные бумажки, головки толстых золотых шаров, фольгу, камешки. Часами трудилась, устраивая красоту, и, когда мать приходила с работы, сдвигала тонкий слой земли и показывала выложенную под стеклом над упокоенной кошкой волшебную картинку, тыкала в стекло грязным пальцем и объявляла матери:

– Киса там.

Толстая Милочка росла в счастливом одиночестве. Была мама, Паша, высоким забором окруженный садик и множество значительных и огромных по смыслу вещей: старая железная бочка с дождевой водой, окруженная разнообразными запахами и мелкими движениями насекомых вокруг нее и внутри, старый дуб в углу сада, осыпающий красивые желуди в гладких шапочках, жесткие резные листья и хрупкие веточки, тоже весь наполненный мелкой животной жизнью, беседка, куда Милочка уходила сосать короткие пухлые пальчики...

Ей шел уже восьмой год, и множество вещей она знала на вид, на запах и на ошупь. Только слов произносила немного, и произношение было странное, как будто гортань ее была создана для другого языка, нездешнего.

Старая Паша любила Милочку. «Жалкая моя», – звала она ее, и, когда Бухара уходила на работу, Паша подолгу что-то рассказывала своей питомице. Ум у Паши не то чтобы стал мешаться, но весь устремился в далекое прошлое, и она подробно, по многу раз пересказывала Милочке истории про своих деревенских родственников, про злого пастуха Филиппа, который ударил ее, девочку, кнутом, про пожар, который занялся по деревне от их бани, где сгорел ее старший брат, напившись пьяным.

Детство Милочки было нескончаемо длинным: целое десятилетие радовали ее «ладушки», «сорока-воровка», она прятала свое личико за носовой платок или в подушку и требовала, чтобы ее искали... Младенческий период этот стал заканчиваться к одиннадцатому году, когда она вдруг стала улучшаться в развитии, ее трехлетний разум стал взростеть, она стала лучше говорить и очень заботиться о чистоте, главным образом рук: подолгу мыла в горячей воде, как бы даже стирала их.

И еще она научилась вырезать ножницами из бумаги. Теперь мать приносила ей множество открыток, старых полуизодранных журналов, и Милочка усердно, днями напролет, вырезала какие-нибудь мелкие цветочки из жесткой открытки. Прикусив кончик крупного языка, она сопела над каждым цветочком и плакала, если случайно перерезала зеленый листик или стебелек.

Старание ее было серьезным и достойным уважения, а бессмысленная деятельность похожа на разумный и сознательный труд. Она приклеивала свои вырезки на альбомные листы, составляла какие-то невообразимые комбинации из лошадиных голов, автомобильных колес и женских причесок, по-своему привлекательные и дико

художественные... Слюна усердия заливала ее подбородок. Но некому было плакать, видя, как мыкается бедная творческая душа, загнанная непостижимой небесной волей в трудолюбивого уродца...

Радостно приносила она матери свои кропотливые изделия, та гладила ее по голове и одобряла: «Очень красиво, Милочка! Хорошо, Милочка!» – и девочка низенько дрыгала ногами от радости, и приседала, и смеялась: «Хорошо! Хорошо!» Видно, что и стремление к совершенству было в ней заложено...

Бухара тем временем резко и окончательно перестала быть красавицей. Она сильно исхудала, потемнела лицом, убрала в старый немецкий чемодан свои цветные платья, оделась в темное. Лицо ее обросло по щекам и подбородку неприятным черным пухом, и ярко сверкающие зубы потеряли свой праздничный цвет.

Сотрудники по поликлинике намекали ей, что неплохо бы показаться хорошему специалисту, но она только улыбалась, опуская вниз глаза. Она знала, что больна, и даже знала чем.

В конце зимы она неожиданно взяла отпуск и полетела с Милочкой на родину, впервые за многие годы. Отсутствовали они чуть больше недели, вернулась Бухара еле живая, еще более темная, с огромным легким мешком из сквозистой шерстяной ткани.

Мешок был полон травы, которую она долго перебирала, сортировала, перемальвала. Потом разложила все по марлевым мешочкам, завернула их в белую бумагу и стала по горсточкам варить.

Паша все принюхивалась, ворчала: «Ну, Бухара, ведьма азиатская!»

Бухара молчала, молчала, потом села на корточки в кухне и, прислонясь к стене, как она любила сидеть, сказала Паше:

– Паша, у меня болезнь смертельная. Я сейчас умереть не могу, как Милочку оставлю... Я с травой еще шесть лет буду жива, потом умру. Мне старик траву дал, святой человек. Не ведьма.

Таких длинных разговоров Паша от нее никогда не слыхала. Подумала, пожевала волнистыми губами и попросила:

– Так ты и мне дай.

– Ты здоровая, больше меня проживешь, – тихо ответила Бухара, и Паша ей поверила.

Бухара все пила пахучую траву, ела совсем мало, всегда одну только еду – вареный рис и сушеные абрикосы, привезенные с родины, очень жесткие и почти белые.

И еще одно дело затеяла она – стала водить Милочку в специальную школу для дефективных детей. Она и работу поменяла, поступила в эту же школу в медицинский кабинет и вместе со специалистами-воспитателями всеми силами пыталась научить Милочку жизненной науке: шнуровать ботинки, держать иголку в руках, чистить картошку...

Милочка старалась, терпеливо пыхла и по трудовому обучению за два года вышла в отличницы. С буквами и цифрами, правда, совсем ничего не получалось. Из всех цифр она честолюбиво узнавала только пятерку, радовалась ей, да букву «М» различала. Большой радостью было для нее выйти вечером из дому с матерью и посмотреть на красную букву «М», горящую над входом в метро.

– Мэ, метро, Мила! – говорила она и счастливо смеялась.

Среди разнообразных идиотов этой страшной школы дети с синдромом Дауна отличались спокойным и хорошим нравом.

– Даунята – славные ребята, – говорил о них заведующий по лечебной работе, начиненный самодельными шутками и прибаутками старый Гольдин. – Жаль только, обучаются очень плохо.

Бухара внимательно рассматривала Карена, Катю, Верочку, сравнивала их со своей Милочкой, и сравнение было в ее пользу. Хотя физическое сходство этих детей было поразительно – все низкорослые, короткопалые, с монгольским разрезом глаз, близорукие, ожиревшие, – но Милочка казалась матери лучше других. Может быть, так оно и было...

На семнадцатом году Милочка стала оформляться, на толстеньком туловище выросла грудь. Милочка стеснялась и немного гордилась, говорила:

– Мила большая, Мила тетя...

Попросила у матери туфли на каблуках. Ножки ее были детского размера, и мать долго не могла купить ей туфли. Наконец раздобыла грузинские лакировки на толстом пробковом каблучке. Милочка была счастлива, вытирала туфли носовым платком и целовала Бухару в лицо, в руки, как маленький щенок без разбору лижет хозяина.

Милочка не сразу научилась ходить на каблуках, недели две все спотыкалась по дому. Когда научилась, мать отвезла ее в мастерскую при психоневрологическом диспансере, где с помощью трудового воспитания, а именно склейки конвертов и вырезывания фигурных ценников, из умственно отсталых людей пытались вырабатывать полезных членов общества.

Бухара уволилась из школы и поступила в диспансер, в регистратуру, чтобы находиться рядом с дочерью и помогать ей в трудовой деятельности.

Бухара разносила медкарты по кабинетам и целеустремленно изучала посетителей. Времени у нее было мало, она торопилась, как торопится обреченный художник завершить перед смертью великое полотно.

Дело в диспансере, как и в любом другом учреждении, было поставлено донельзя рутинно и бессмысленно. Каждый год вызывали на переосвидетельствование больных, это и была основная забота диспансера. Впрочем, по соседнему ведомству, в обычной районной поликлинике, на такое же переосвидетельствование таскали и безногих. Без этого не давали пенсии, а составляла она сумму немалую, у некоторых чуть не до сорока рублей.

Вот эти приходящие на комиссию люди и занимали Бухару. У нее был даже свой маленький архив, своя картотека. Она интересовалась, что за больной, с кем живет, где...

Дичь, однако, сама вышла на охотника. Однажды на запущенной мраморной лестнице особняка, где помещался диспансер, к ней обратился маленький лысый старик в коротких полосатых брюках и с чаплиновской живостью глаз. Не отпуская руки упитанного головастого дебила с розовой улыбкой, старик спросил у Бухары, куда подевался врач Рактин, который раньше был по их участку, а теперь не принимает.

Бухара ответила, что Рактин ушел, на его месте теперь молодой доктор Веденева, но, кажется, у нее сегодня нет приема.

– Ай-яй-яй, – закудахтал человек сокрушенно, как будто произошло невесть какое несчастье.

А Бухара незаметно разглядывала того, который стоял рядом, – тоже лысого, добродушного и толстого, в клетчатой чистой, но невыглаженной рубашке и в сатиновых шароварах послевоенной моды. Было ему лет тридцать или около того, но Бухара уже

знала, что больные люди живут и стареют как-то иначе, чем обычные, и с их возрастом можно легко ошибиться: в детстве они часто кажутся младше, но потом неожиданно быстро стареют...

– Ваша фамилия? – спросила Бухара почтительно.

– Берман, – ответил старик, а его толстый сын закивал головой. – Берман Григорий Наумович, – повторил старик, указал на сына, а тот все кивал и улыбался.

Оказалось, они пришли за справкой. Дом их шел под снос, и старик Берман хотел воспользоваться болезнью сына, чтобы получить побольше жилых метров.

Бухара быстро узнала, когда надо приходиться, обещала сообщить, смогут ли дать такую справку для Григория.

Отец с сыном ушли, и Бухара долго смотрела вслед этой парочке, которая кому-нибудь могла показаться комичной. Но не ей...

Она долго изучала пухлую карточку Григория Бермана. Здесь фигурировала и врожденная гидроцефалия, и менингит, и поражение молнией в семилетнем возрасте – как будто провидение искало гарантий, чтоб этот человек был изувечен наверняка...

Судя по трудно разбираемым каракулям лечащих врачей, молодой человек обладал сниженным интеллектом, спокойным хорошим нравом и не был подвержен припадкам.

На следующий день Бухара приехала в Старопименовский переулок, где в маленьком деревянном домике, совершеннейшей избушке на курьих ножках, однако все-таки поделенной на три семьи, жил старый Берман со своим сыном.

На веревке, протянутой через маленькую комнату, висело невысохшее белье, старик читал одну из толстых кожаных книг, которые громоздились на столе, и сердце Бухары замерло от сладкого, знакомого с детства запаха старинной кожи.

Григорий сидел на стуле и гладил грязную белую кошку, которая спала у него на коленях. Пахло пригорелым супом и ночным горшком.

Старый Берман засуетился, когда узнал вчерашнюю медсестру, он вовсе не рассчитывал на такую любезность.

– Гриша, пойдешь поставь чайник сию минуту, – приказал Берман, и Григорий, взяв очень старательно чайник тряпочкой за ручку, вышел.

– Я пришла к вам по делу, Наум Абрамович, – начала медсестра. – Пока нет вашего сына, я вот что хочу вам сказать: у меня есть дочь, она очень хорошая девочка, спокойная, добрая. И болезнь у нее такая же, как у вашего сына.

Берман встрепенулся, что-то хотел сказать, но кроткая Бухара властно его остановила и продолжала:

– Я больна. Скоро умру. Я хочу выдать дочку замуж за хорошего человека.

– Милая моя! – всплеснул руками Берман, так что тяжелая книжка грузно шлепнулась на пол и он кинулся ее поднимать, откуда-то из-под стола продолжая бурно ей отвечать: – Что вы говорите? Что вы думаете? Кто это за него пойдет? И какой из него муж? Вы что, думаете, девушка будет иметь от него большое удовольствие, вы понимаете, что я имею в виду? А?

Бухара молча перетерпела все это длинное и лишнее выступление старика, потом вошел Григорий, сел на стул, взял кошку на колени и стал чесать ее за ухом. Бухара посмотрела на него острым и внимательным глазом и сказала:

– Гриша, я хочу, чтобы вы с папой пришли ко мне в гости. Я хочу познакомить вас с моей дочкой Милой. – А потом она повернулась к Науму Абрамовичу и сказала ему прямо-таки совсем по-еврейски: – А что будет плохого, если они познакомятся?

... По воскресным дням Бухара обыкновенно не вставала с постели, отлеживалась, берегла силы. Кожа ее сильно потемнела и ссохлась, лицо стало совсем старушечьим, и даже тонкая фигура утратила стройность, согнувшись в плечах и в спине. Ей не было и сорока, но молодыми в ней оставались только ярко-черные сильные волосы, которые она давно уже укоротила, изнемогши от их живой и излишней тяжести.

Милочка принесла матери чашку горячей травы, несколько размоченных урючин и села рядом с постелью на низенькую скамейку, обняв свои пухлые колени. Бухара погладила слабой рукой ее реденькие желтые волосы и сказала:

– Спасибо, доченька. Я хочу сказать тебе одну вещь. Очень важную. – Девочка подняла голову. – Я хочу, чтобы у тебя был муж.

– А ты? – удивилась Милочка. – Пусть лучше у тебя будет муж. Мне его не надо.

Бухара улыбнулась.

– У меня уже был муж. Давно. Теперь пусть у тебя будет муж. Ты уже большая.

– Нет, не хочу. Я хочу, чтобы ты была. Не муж, а ты, – насупилась Милочка.

Бухара не ожидала отпора.

– Я скоро уеду. Я тебе говорила, – сказала она дочери.

– Не уезжай, не уезжай! Я не хочу! – заплакала Милочка. Мать ей уже много раз говорила, что скоро уедет, но она все не верила и быстро про это забывала. – Пусть и Мила уедет!

Когда Милочка волновалась, она забывала говорить про себя в первом лице и снова, как в детстве, говорила в третьем.

– Я долго, долго с тобой жила. Всегда. Теперь я должна уехать. У тебя будет муж, ты не будешь одна. Паша будет, – терпеливо объясняла Бухара. – Муж – это хорошо. Хороший муж.

– Мила плохая? – спросила девочка у матери.

– Хорошая, – погладила толстую круглую голову Бухара.

– Завтра не уезжай, – попросила Мила.

– Завтра не уеду, – пообещала Бухара и закрыла глаза.

Она давно уже решила, что уедет умирать к старшему брату в Фергану, чтобы Милочка не видела ее смерти и постепенно бы про нее забыла. Память у Милочки была небольшая, долго не держала в себе ни людей, ни события.

Все произошло, как задумала Бухара. Берман с сыном и сестрой, маленькой, одуванчикового вида старушкой, пришли в гости. Паша накануне убрала квартиру, хотя и ворчала. Бухара принесла покупной торт. Готовить она совсем не могла, к плите не подходила, настолько плохо ей становилось от близости огня и запахов пищи.

Пили чай. Разговаривали. Старушка оказалась необыкновенно болтливой и задавала много странных и бессмысленных вопросов, на которые можно было не отвечать. Старый Берман вдумчиво пил чай. Григорий улыбался и все спрашивал у отца, можно ли ему взять еще кусочек торта, и с увлечением ел, вытирая руки то о носовой платок, то о салфетку, то о край скатерти.

Бухара с сердечным отзывом узнавала в нем все старательно-деликатные движения Милочки, которая очень боялась за столом что-нибудь испачкать или уронить.

Милочка слезла со стула. Она была детски малого роста, но с развитой женской грудью. Подошла к Григорию.

– Идем, я покажу, – позвала она, и он, послушно оставив недоеденный кусок, пошел следом за ней в маленькую комнату.

Совсем без перехода, как бы сама к себе обращаясь, маленькая старушка вдруг сказала:

– А может, она права... И квартира у них очень хорошая, можно сказать, генеральская... – и зажевала губами.

Милочка в своей комнате раскладывала перед Григорием свои бесчисленные альбомы. Он держал во рту орешек от торта, перекатывал его языком, любовался картинками, а потом спросил у Милочки:

– Угадай, что у меня во рту? Милочка подумала немного и сказала:

– Зубы.

– Орешек, – засмеялся Григорий, вынул изо рта орешек и положил ей в руку.

...Едва дождавшись совершеннолетия Милочки, их расписали. Григорий переселился в докторский флигель. Бухара через месяц после свадьбы уехала к себе на родину.

Первое время Милочка, натываясь на вещи матери, говорила грустно: мамин фартук, мамина чашка... Но потом старая Паша потихоньку все эти вещи прибрала подальше, и Милочка про мать больше не вспоминала.

По утрам Милочка ходила на работу в мастерскую. Ей нравилось вырезать ценники, она делала это почти лучше всех. Гриша каждый день провожал ее до трамвая, а потом встречал на остановке. Когда они шли по улице, взявшись за руки, маленькая Милочка на каблучках в девичьем розовом платье Бухары и ее муж, большеголовый Григорий с поросшей пухом лысиной, оба в уродливых круглых очках, выданных им бесплатно, – не было человека, который не оглянулся бы им вслед. Мальчишки кричали в спину какие-то дворовые непристойности.

Но они были так заняты друг другом, что совсем не замечали чужого нехорошего интереса.

Шли до остановки. Милочка неуклюже влезала на высокую подножку. Григорий подталкивал ее сзади и махал рукой до тех пор, пока трамвай не скрывался за поворотом. Милочка тоже махала, прилепив к стеклу свою размазанную улыбку и поднимаясь на цыпочки, чтобы лучше видеть стоящего на остановке мужа, энергично размахивающего толстой варежкой...

Брак их был прекрасным. Но в нем была тайна, им самим неведомая: с точки зрения здоровых и нормальных людей, был их брак ненастоящим.

Старая Паша, сидючи на лавочке, с важным видом говорила прочим старухам:

– Много вы понимаете! Да Бухара всех нас умней оказалась! Все, все наперед рассчитала! И Милочку выдала за хорошего человека, и сама, как приехала в это самое свое... так на пятый день и померла. А вы говорите!

Но никто ничего и не говорил. Все так и было.